

2. КОНСТИТУЦИЯ

КОНСТИТУЦИЯ, ИЛИ УСТРОЙСТВО НОВОГО ВРЕМЕНИ

Новое Время часто определяют, используя понятие «гуманизм», — идет ли речь о том, чтобы приветствовать рождение нового человека или чтобы возвестить о его смерти. Но привычка поступать таким образом сама по себе является нововременной, поскольку носит асимметричный характер. При этом забывают, что вместе с рождением человека на свет появляется и «не-человечество» — вещи, объекты или звери и не менее странный, отграниченный от нас и находящийся вне игры Бог. Сначала Новое Время представляет собой результат совместного проявления этих трех общностей, затем — сокрытия их совместного рождения и попытки трактовать каждую из них по отдельности, в то время как под всеми этими общностями гибриды, как следствие такого способа объяснять все по отдельности, продолжают умножаться. Нам предстоит восстановить, с одной стороны, это разделение на «верх» и «низ», а с другой — разделение между людьми и нечеловеками.

Эти два типа разделения можно сопоставить с тем, как отличаются друг от друга две ветви власти — судебная и исполнительная. Положение о разделении властей не в состоянии описать многочисленные связи, перекрещивающиеся влияния, постоянный торг, который ведут между собой судьи и политики. И однако, тот, кто стал бы отрицать эффективность этого разделения, совершил бы ошибку. Нововременное деление мира на природу и общество имеет тот же самый основополагающий характер, с тем только отличием, что до сих пор никто не взял на себя задачу изучить политиков и ученых в их симметричном соотношении друг с другом, поскольку казалось, что между ними не существует никакого общего знаменателя. В некотором смысле статьи основного закона, касающиеся двух типов деления мира надвое, были составлены настолько хорошо, что результаты такого разделения стали рассматриваться как имеющие сущностное, онтологическое различие. Но стоит только кому-нибудь очертить это симметричное пространство и таким образом восстановить общее понимание мира, которое задает его

деление на природу и политику, как он сразу же перестает быть нововременным.

Общий текст, задающий такое понимание и такое разделение властей надвое, мы называем Конституцией. Кто должен ее писать? Если говорить о политических конституциях, то эта задача ложится на юристов, но они сделали пока что только одну четверть своей работы, поскольку начисто забыли как о власти науки, так и о работе гибридов. Если говорить о природе вещей, то эта задача была возложена на ученых, но они выполнили только еще одну четверть всей работы, поскольку притворяются, что забыли о политической власти, и отрицают, что гибриды имеют какую-либо значимость, при этом постоянно способствуя их размножению. Если говорить о работе перевода, то эта задача стояла перед теми, кто изучает сети, но они выполнили только половину своих обязанностей, поскольку не дают никаких объяснений работе очищения, которая скрыто происходит за этими сетями и которая объясняет умножение гибридов.

До сих пор антропологии, когда это касалось экзотических коллективов, успешно удавалось описывать все разом. Действительно, как я уже говорил, каждый этнолог способен представить в одной и той же монографии определение действующих сил, распределение полномочий между людьми, богами и нечеловеками, процедуры достижения соглашений, связи между религией и властью, предков, космологию, права собственности и классификации растений или животных. Этнолог, разумеется, не станет писать три книги — одну о знаниях, другую о власти, наконец, третью о практиках. Он напишет только одну книгу, вроде той великолепной монографии, в которой Филипп Деколя пытается обобщить Конституцию амазонского племени ашуар:

Ашуары, однако, неполностью включили природу в символические сети своего домашнего, прирученного мира. Конечно, культурное поле является здесь всеобъемлющим, поскольку там оказываются животные, растения и духи, которые в других обществах южноамериканских индейцев помещаются в сферу природы. Следовательно, мы не находим у ашуаров этой антиномии между двумя закрытыми и непримиримо противопоставленными друг другу мирами: культурным миром человеческого общества и природным миром животного общества. И все же есть момент, когда континуум социальности прерывается, чтобы уступить место дикому миру, непримиримо чуждому для человека. Несравнимо более узкий, чем сфера

культуры, этот маленький сегмент природы включает в себя вещи, с которыми не может быть установлена коммуникация. Существом, обладающим языком (aents), наиболее совершенным воплощением которых являются люди, противостоят немые вещи, которые населяют параллельные и недоступные нам миры. Невозможность вступить в коммуникацию часто объясняется отсутствием души (wakan), что характеризует некоторые виды живых существ: большую часть насекомых и рыб, домашних животных и большое количество растений, которые, таким образом, наделены механическим и бездумным существованием. Но отсутствие коммуникации иногда порождено расстоянием; душа звезд и метеоров, бесконечно далекая и вероятно подвижная, остается глухой к человеческим речам (Descola, 1986 p. 399).

Задача антропологии нововременного мира состоит в том, чтобы точно таким же образом описать, как организованы все ветви нашего правления, включая природу и точные науки, и объяснить, как и почему эти ветви разделяются и каковы те многочисленные способы регулирования, которые позволяют собрать их воедино. Этнолог, изучающий наш мир, должен занять свое место в той общей точке, где распределяются роли, действия, компетенции, — все то, что позволяет определить одну единицу как животное или как материю, а другую — как субъект права, одну — как наделенную сознанием, а другую — как механическую, бессознательную или лишенную какой бы то ни было компетенции. Он должен еще и сопоставить различные способы определять или не определять материю, право, сознание и душу зверей, но не отталкиваться при этом от нововременной метафизики. Подобно тому как конституция юристов определяет права и обязанности граждан и государства, функционирование судебных инстанций и передачу властных полномочий, так и Конституция — слово, которое я пишу здесь с большой буквы, чтобы отличить ее от политической конституции, — определяет людей и нечеловеков, их особенности и отношения, их компетенции и их объединения.

Как описать эту Конституцию? Я выбрал наиболее характерную ситуацию, имевшую место в самом начале составления этой Конституции, в середине XVII века, — когда ученый Роберт Бойль и политический философ Томас Гоббс начали свой спор по поводу распределения научной и политической власти. Такой выбор мог бы показаться необоснованным, если бы одна замечательная книга уже не начала борьбу с делением мира на общество и природу,

которая этому обществу неподвластна. Бойль со своими последователями и Гоббс со своими учениками будут служить мне в качестве символа и возможности обобщения истории, значительно более длинной, чем та, которую я сейчас могу проследить сам, но которую другие, оснащенные лучше меня, возможно, проследят до самого конца.

БОЙЛЬ И ЕГО ОБЪЕКТЫ

Мы не воспринимаем политику как нечто внешнее по отношению к научной сфере и как то, что могло бы, так сказать, отпечататься в ней. Экспериментальное сообщество [созданное Бойлем] активно боролось за то, чтобы навязать такой словарь, который устанавливал бы границы этой сферы, и мы старались определить место этого языка в истории и объяснить развитие этих новых дискурсивных конвенций. Если мы хотим, чтобы наше исследование было последовательным с исторической точки зрения, нам необходимо воздержаться от того, чтобы нерелексивно использовать язык этих акторов для наших собственных объяснений. Мы как раз пытаемся понять и объяснить этот язык, позволяющий рассматривать политическое как нечто внешнее по отношению к науке. И здесь мы сталкиваемся с ощущением, которое является общим для историков науки, утверждающих, что они уже давно преодолели понятия «внутреннего» и «внешнего» в отношении к своему предмету. Огромное заблуждение! Мы только начинаем осознавать проблемы, поставленные этими разграничивающими конвенциями. Каким образом, в исторической перспективе, деятели науки распределяли элементы, согласно своей системе разграничения (отличающейся от нашей), и как мы можем эмпирически исследовать те способы, которыми они для этого пользовались? Вещь, которую называют «наукой», не содержит никаких демаркационных линий, которые можно было бы считать ее естественными границами (Shapin, Schaffer, 1985, p. 342).

Эта длинная цитата, взятая из конца книги Стивена Шейпина и Саймона Шэффера, знаменует собой подлинное начало сравнительной антропологии, которая со всей серьезностью принимается за изучение науки (Latour, 1990c). Авторы не пытаются показать, как социальный контекст Англии может объяснить развитие физики Бойля и крах математических теорий Гоббса, а принимаются за само основание политической философии. Вместо того чтобы «помещать научные исследования Бойля в их социальный контекст» или показывать, как политика «оставляет свой след» в содержании научных теорий, они исследуют, как Бойль и Гоббс сражались друг

с другом, чтобы изобрести науку, контекст и границу между ними. Шейпин и Шэффер не готовы объяснять содержание через контекст, так как ни то ни другое не существовало в нынешнем, новом виде до того момента, как Бойль и Гоббс достигли каждый своей цели и разрешили свои противоречия.

Изыщество их книги состоит в том, что они отыскивали научные труды Гоббса, которые игнорировались политологами, поскольку последних приводили в замешательство дикие математические измышления их героя; с другой стороны, они извлекли из забвения политические теории Бойля, которые игнорировались историками науки, предпочитавшими скрывать организаторские порывы последнего. Вместо асимметрии и разделения — дать Бойлю науку, а Гоббсу — политическую теорию, Шейпин и Шэффер представляют нам довольно красивый квадрант: за Бойлем остается наука и политическая теория; за Гоббсом — политическая теория и наука. Квадрант этот не был бы так интересен, если бы главные герои этих двух историй мыслили совершенно различным образом — если бы, например, один был философом в духе Парацельса, а другой — законоводителем в духе Бодена. Но, к счастью, они сходятся друг с другом почти во всем. Оба ратуют за короля, Парламент, за послушную единую Церковь, и оба являются пылкими приверженцами механицизма. Но хотя оба они являются последовательными рационалистами, их мнения расходятся в отношении того, чего следует ждать от эксперимента, научного доказательства, форм политической аргументации и в первую очередь от воздушного насоса — подлинного героя этой истории. Расхождения между двумя этими людьми, которые во всем остальном сходятся друг с другом, делают их идеальными «дрозофилами» для новой антропологии.

Бойль наиболее последовательным образом воздерживался от того, чтобы говорить о вакуумном насосе. Для того чтобы внести порядок в споры, которые последовали за открытием торричеллиевых пустот, образующихся в верху ртутного столба, опрокинутого в резервуар с той же самой субстанцией, он хотел только вычислить вес и сопротивление воздуха, не участвуя в полемике, которую вели между собой сторонники существования эфира и сторонники теории вакуума. Аппарат, который он разрабатывает на основе аппарата Отто фон Герике и который позволял постоянно откачивать воздух из прозрачного стеклянного сосуда, по своей стоимости, сложности и новизне может рассматриваться как наи-

более совершенное физическое оборудование, существующее на тот момент. Это уже *Big Science*. Наиболее существенное преимущество аппаратуры Бойля состоит в том, что благодаря стеклянным стенкам она дает возможность видеть то, что происходит внутри, и вводить внутрь новые образцы или даже манипулировать ими благодаря ряду незамысловатых механизмов, таких как шлюзовые камеры и крышки. Однако поршни насоса, плотные стекла и сами резиновые прокладки были еще недостаточно высокого качества. Поэтому Бойль вынужден существенно расширять свои технологические поиски, чтобы иметь возможность провести опыт, который интересовал его более всего, — опыт, который доказывал бы существование пустоты в пустоте. Он помещает трубу Торричелли внутрь замкнутого пространства стеклянного насоса и получает таким образом первое пространство на вершине перевернутой трубы. Затем один из его техников, которого, впрочем, никто не видит (Shapin, 1991b), приводит насос в действие и выкачивает оттуда такое количество воздуха, которое необходимо для того, чтобы уровень ртутного столба оказался почти что на уровне ртути в резервуаре. Бойль проведет десятки экспериментов внутри замкнутой камеры своего насоса, пытаясь установить существование эфирного ветра, наличие которого утверждалось его противниками, а также объяснить, что заставляет соединяться мраморные цилиндры, задыхаться находящиеся внутри стеклянного колпака маленьких животных и гаснуть свечи, — опыты, ставшие впоследствии популярными благодаря занимательной физике XVIII века.

В то время как на дворе бушевала целая дюжина гражданских войн, Бойль выбирает такой метод аргументации — аргументацию через мнение, — который был высмеян еще старой схоластической традицией. Бойль и его коллеги отказываются от достоверности, присущей аподейктическому суждению, в пользу *doxa*, простого мнения. Теперь эта *doxa*, однако, больше уже не плод бредовых фантазий наивных масс, но новый механизм завоевания поддержки у знатных особ. Вместо того чтобы основываться на логике, математике или риторике, Бойль опирается на параюридическую метафору: заслуживающие доверия, состоятельные и достойные уважения очевидцы, собравшиеся вокруг сцены, на которой проводится опыт, могут свидетельствовать о существовании факта, *the matter of fact*, даже если сами они ничего не знают о его подлинной природе. Таким образом, Бойль изобретает эмпирический стиль, которым мы пользуемся и по сей день (Shapin, 1991a).

Бойль нуждается не во мнении этих избранных представителей благородного сословия, но в наблюдении феноменов, произведенных искусственным образом в замкнутом и защищенном пространстве лаборатории. По иронии судьбы, Бойль стремится поднять и решить ключевой вопрос конструктивистов — являются ли факты полностью сконструированными в лаборатории или нет? Да, факты действительно конструируются благодаря новому оборудованию лаборатории и искусственному посреднику — насосу. Уровень торричеллиевского столба, помещенного в прозрачный корпус насоса, который приводится в действие запыхавшимися техниками, действительно понижается. «Факты фабрикуются», — как сказал бы Гастон Башляр. Но не являются ли ложными те факты, которые созданы человеком? Нет, поскольку Бойль, так же как и Гоббс, распространяет на человека «конструктивизм», присущий божественному началу: Бог знает о вещах все, поскольку сам их создает (Funkenstein, 1986). Мы знаем природу фактов, поскольку они получены при таких обстоятельствах, которые находятся под нашим полным контролем. Наша слабость оказывается силой в том случае, если только мы ограничимся знанием инструментализованной природы фактов и оставим в стороне объяснение причин. И вновь Бойль превращает недостаток — мы производим только *matters of fact*, созданные в лабораториях и обладающие только локальной ценностью, — в решительное преимущество: эти факты никогда не изменятся, что бы ни происходило в любом другом месте — в теории, метафизике, религии, политике или логике.

ГОББС И ЕГО СУБЪЕКТЫ

Гоббс отрицает весь механизм аргументации Бойля. Как и Бойль, он хочет остановить гражданскую войну, и точно также хочет лишить как просвещенных джентльменов, так и простой народ права свободно толковать Библию. Но своей цели он хочет добиться как раз за счет унификации политического тела. Суверен, порождаемый договором, этот смертный Бог, «которому мы, под владычеством бессмертного Бога, обязаны своим миром и своей защитой», является лишь представителем множества. «Ибо единство лица обуславливается единством представителя, а не единством представляемых». Гоббс обуравем идеей этого единства Лица (Person), которое, как он выражается, есть Представитель (Actor), «которого мы, прочие граждане, создали

как доверители» (Hobbes, 1971).¹ Именно благодаря такому единству и не может существовать никакой трансценденции, никакого доступа к Богу. Гражданские войны будут свирепствовать до тех пор, пока существуют сверхъестественные сущности, к которым граждане будут чувствовать себя вправе обращаться, когда сами они преследуются властями этого низменного мира. Верность идеалам старого средневекового общества — Богу и Королю — больше невозможна, если каждый сможет обращаться к Богу сам по себе или назначить себе короля. Гоббс хочет полностью изжить всякие призывы к сущностям, превосходящим гражданскую власть. Он хочет воссоздать католическое единство, закрывая при этом все доступы к божественной трансценденции.

Для Гоббса власть есть знание; это означает, что если мы хотим положить конец гражданским войнам, то должны существовать только одно знание и только одна власть. Поэтому большая часть гоббсовского Левиафана посвящена толкованию Ветхого и Нового Завета. Одна из самых больших опасностей для гражданского мира проистекает из веры в нематериальные тела, в такие, например, как духи, призраки или души, к которым люди обращаются, чтобы противостоять решениям, принимаемым гражданской властью. Антигона могла представлять собой опасность, когда провозглашала превосходство благочестия над *raison d'Etat* («государственным интересом») Креона; уравнители, левеллеры и диггеры являются еще более опасными, когда они зывают к материи как к активной силе и к свободной интерпретации Библии, чтобы перестать повиноваться своим законным правителям. Инертная и механическая материя столь же важна для гражданского мира, как символическая интерпретация Библии. В обоих случаях необходимо любой ценой избежать того, чтобы мятежные фракции могли обращаться к высшей Сущности — Природе или Богу, которую правитель не может контролировать полностью.

Этот редукционизм не ведет к тоталитаризму, поскольку Гоббс соотносит его с самим Государством (*Republique*): правитель всегда только лишь представитель (*Actor*), назначаемый в соответствии с общественным договором. Не существует божественного права или высшей инстанции, к которой правитель мог бы обратиться для того,

¹ См. также русскоязычное издание: Томас Гоббс, Левиафан, Собрание сочинений: В 2 т. М., Мысль, 1965, т. 2, с. 196, пер. А. Гутермана.

чтобы действовать так, как он этого хочет, и уничтожить Левиафана. В этом новом режиме, где знание приравнивается к власти, все оказывается урезанным: суверен, Бог, материя и множество. Гоббс превращает даже своей собственной науке о Государстве превратиться в апелляцию к какой бы то ни было трансценденции. Всех своих научных результатов он достигает, используя не мнение, наблюдение или откровение, а математическое доказательство — единственный метод аргументации, способный принудить к согласию каждого; и такое доказательство осуществляется не трансцендентальными расчетами, как это делает платоновский Царь, но при помощи одних только вычислительных инструментов, механического мозга, компьютера еще до его появления. Даже знаменитый общественный договор является лишь итогом подсчетов, к которому внезапно приходят запуганные граждане, стремящиеся преодолеть естественное состояние. Таков тот конструктивизм, которому Гоббс придал обобщенную форму и который был призван прекратить гражданские войны: никакой трансценденции, чем бы она ни была, никакого обращения ни к Богу, ни к активной материи, ни к власти божественного права, ни даже к математическим идеям.

Теперь все уже готово для столкновения между Гоббсом и Бойлем. И вдруг после того, как Гоббс осуществил редукцию политического тела и свел его в одно целое, откуда-то появляется Королевское Общество, чтобы снова все разделить: несколько благородных джентльменов провозглашают свое право иметь независимое мнение в закрытом пространстве лаборатории, над которой государство не имеет никакого контроля. И если эти мятежники достигают согласия, то происходит это не на основании математического доказательства, с которым пришлось бы согласиться всем, но на основании опытов, наблюдаемых при помощи обманчивых чувств, опытов, которые остаются необъяснимыми и мало что доказывающими. Еще хуже то, что этот новый кружок решает сосредоточить свои усилия вокруг воздушного насоса, который производит новые нематериальные тела, пустоту, словно ему, Гоббсу, пришлось потратить столько усилий, чтобы освободиться от призраков и духов! И вот мы снова, беспокоится Гоббс, ввергнуты в гражданскую войну! Мы уже не должны мириться с левеллерами и диггерами, оспаривавшими власть короля во имя собственной интерпретации Бога и свойств материи, — их уже полностью истребили, — но теперь нам надо смириться с этой новой кликой ученых, которая, во имя природы, примется оспаривать власть, кому бы она

ни принадлежала, апеллируя при этом к фактам, целиком и полностью сфабрикованным в лаборатории! Если вы разрешаете экспериментам производить их собственные *matters of fact* и если они позволяют пустоте проникнуть в насос и оттуда — в естественную философию, власть опять окажется разделена: нематериальные духи вновь будут подстрекать к мятежу, превращая себя в апелляционный суд для всевозможных фрустраций. Знание и власть снова будут разделены. Согласно выражению самого Гоббса, вы «увидите все вдвойне». Такие признания он адресует королю, чтобы разоблачить неблагоприятные деяния Королевского Общества.

**МЕДИАЦИЯ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМАЯ
ЛАБОРАТОРИЕЙ**

Однако эта политическая интерпретация гоббсовской теории существования эфира была бы недостаточна для того, чтобы по-

ложить книгу Шейпина и Шэффера в основание сравнительной антропологии. Любой хороший историк идей смог бы в конечном счете проделать ту же самую работу. Но в трех решающих главах наши авторы выходят за пределы интеллектуальной истории и переходят от мира мнений и аргументов в мир практики и сетей. Впервые в исследованиях науки все идеи, относящиеся к Богу, королю, материи, чудесам и морали, переведены, переписаны и пропущены через инструментальные аспекты работы. До Шейпина и Шэффера одни историки науки изучали научную практику; другие — религиозный, политический и культурный контекст науки; но никто до сих пор не был способен делать то и другое одновременно.

Точно так же, как Бойлю удается конвертировать свой смас-теренный на скорую руку насос в частичное признание благородными особами фактов, ставших, таким образом, бесспорными, Шейпину и Шэфферу удается объяснить, как и почему дискуссии, в которых обсуждаются социальное тело, Бог и его чудеса, материя и власть, должны так или иначе затронуть проблему воздушного насоса. Эту загадку так никогда и не удалось решить тем, кто стремится к контекстуалистскому объяснению наук. Они исходят из принципа, что существует социальный макроконтекст — Англия, династические притязания, капитализм, революция, торговля, Церковь, и этот контекст в некотором смысле влияет, формирует, отражает, передает и оказывает давление на «идеи, возникающие по поводу» вещества, упругости воздуха, пустот и труб Торричелли. Но они никогда не объясняют заранее возникшей связи между Богом,

королем, Парламентом и птицей, задыхающейся в закрытом прозрачном колпаке насоса, куда воздух поступает благодаря рукоятке, приводимой в действие техником. Как же опыт с птицей может перевести, переместить, транспортировать, деформировать все остальные споры таким образом, чтобы те, кто управляет насосом, управляли бы также королем и Богом и всем остальным контекстом?

Гоббс действительно пытается обойти все, что имеет отношение к экспериментальной работе, но Бойль делает так, чтобы дискуссия затронула низменные подробности, касающиеся утечек, прокладок и рукояток его насоса. Точно так же философы науки и историки идей хотели бы избежать мира лаборатории, этой вызывающей отвращение научной кухни, где все основные понятия задыхаются от мелочей. Напротив, Шейпин и Шэффер заставляют свой анализ вращаться вокруг объекта, вокруг каждой конкретной утечки, каждой прокладки воздушного насоса. Практика фабрикации объектов вновь возвращает себе привилегированное место, которое она утратила благодаря нововременной критике. Книга двух наших коллег является эмпирической не только потому, что переполнена различными деталями, — она эмпирическая, поскольку предпринимает археологические разыскания новых предметов, появившихся в лаборатории в XVII веке. Шейпин и Шэффер, точно так же, как и Хакинг (Hacking, 1989), делают квази-этнографическим образом то, чем философы науки сейчас почти что не занимаются: они показывают реалистические основания наук. Но они не столько говорят о внешней реальности «там, снаружи», сколько укореняют бесспорную реальность науки «здесь, под ногами».

Опыты никогда не проходят гладко. Насос пропускает воздух. Его надо как-то подлатать. Те, кто неспособны объяснить прорыв объектов в человеческое сообщество, со всеми его манипуляциями и практиками, которых они требуют, не являются антропологами, поскольку не в состоянии уловить то, что, начиная с эпохи Бойля, составляет наиболее фундаментальный аспект нашей культуры: мы живем в обществах, где социальные связи создаются объектами, полученными в лаборатории, где идеи замещаются практиками, аподейктические суждения — контролируемой доксой, всеобщее согласие — сообществами коллег. Прекрасный порядок, который пытался вновь обрести Гоббс, уничтожен благодаря увеличению количества частных пространств, где провозглашается трансцен-

дентальное происхождение фактов, фактов, которые, хотя и сфабрикованы человеком, не являются его созданием и которые, хотя и не имеют никакой причины, тем не менее могут быть объяснены.

Как же удержать общество, негодует Гоббс, на столь жалком основании, как *matters of fact*? Особенно его раздражают изменения самого масштаба феноменов. Согласно Бойлю, великие вопросы, касающиеся материи и божественной власти, могут быть подвергнуты опытному решению, и это решение будет частичным и ни на что не претендующим. Гоббс же отвергает саму возможность, что пустота может стать онтологическим и политическим основанием первой философии, и продолжает ссылаться на существование невидимого эфира, который должен присутствовать даже в тот момент, когда рабочий Бойля, задыхаясь от напряжения, приводит в действие свой насос. Иными словами говоря, он требует макроскопического ответа на свои «макро»-аргументы, доказательств, подтверждающих, что онтология Бойля является необходимой и что пустота политически приемлема. Что же в ответ делает Бойль? Он, напротив, хотел бы сделать свой опыт еще более сложным, чтобы продемонстрировать этот эффект на детекторе — простое куриное перышко! — способном установить присутствие эфирного ветра, существование которого утверждает Гоббсом в надежде опровергнуть теорию своего противника (Hobbes, 1971, p. 182).¹ Смешно! Гоббс поднимает фундаментальную проблему политической философии, а его теории должны быть опровергнуты перышком внутри стеклянного колпака, который находится в особняке Бойля! Конечно же, перышко абсолютно неподвижно, и Бойль делает из этого вывод, что Гоббс ошибается, — не существует никаких эфирных ветров. Однако Гоббс не может ошибаться, поскольку он отказывается допустить, что явление, о котором он говорит, может быть произведено в каком-то ином масштабе, нежели масштаб целого государства. Он отрицает то, что должно стать существенной особенностью нововременной власти: изменение масштаба и смещения, которые предполагает любая работа в лаборатории. Бойлю, словно новому Коту в сапогах, теперь остается только наброситься на Людоеда, уменьшившегося до размера мыши.

¹ См. также: Гоббс, Левиафан, т. 2, с. 189.